

Анна Матвеева

ПОДОЖДИ,
Я УМРУ—
И ПРИДУ



ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

Анна Матвеева

**Подожди, я умру –
и приду (сборник)**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Матвеева А. А.

Подожди, я умру – и приду (сборник) / А. А. Матвеева —
«Издательство АСТ», 2019

ISBN 978-5-17-112514-1

Анна Матвеева — автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», сборников рассказов «Девять девяностых», «Лолотта и другие парижские истории», «Горожане» и «Спрятанные реки». Финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Герои историй Анны Матвеевой настойчиво ищут свое время и место. Влюбленная в одиннадцатиклассника учительница грезит Англией. Мальчик надеется, что родители снова будут вместе, а к нему, вместо выдуманного озера на сцене, вернется настоящее, и с ним — прежняя жизнь. Незаметно повзрослевшая девочка жалеет о неслучившемся прошлом, старая дева все еще ждет свое невозможное будущее. Жена неудачливого писателя обманывается мечтами о литературном Парнасе, а тот видит себя молодым, среди старых друзей. «Ведь нет страшнее, чем узнать свое место и время». Не менее страшно — знать, и не уметь его найти. 2-е издание, исправленное и дополненное

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-112514-1

© Матвеева А. А., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

На озере	6
Под факелом	13
Обстоятельство времени	27
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Анна Матвеева
Подожди, я умру – и приду
(сборник)

*Светлой памяти моего отца, профессора Александра
Константиновича Матвеева*

На озере

Мама сказала, что мне понравится, а я сначала подумал, что это будет опять то же самое озеро, на которое мы ездили вместе с папой, летом. Но потом я подумал, что папы здесь нет и к тому озеру ехать очень далеко – опять надо будет лететь в самолете. В самолете мне понравилось, только уши болели, когда он взлетал, и мама ругалась, когда я случайно мешал дядьке в соседнем кресле. А летом мы ехали к озеру на папиной машине, и мама молчала всю дорогу, и на озере тоже не разговаривала. Ей не понравились комары и то, что я случайно провалился под воду и папа меня доставал, я весь был потом мокрый, и папа разводил костер, чтобы меня высушить. Маме костер понравился, она всё время сидела около него и вздыхала, а папа говорил, что, наверное, ездить на озеро не стоило, лето получилось холодное.

...Здесь, в Петербурге, мама всегда надевает юбки и бусы и становится почти такая же красивая, как Ольга Витальевна, наш классный руководитель. Ольга Витальевна сказала, что мама зря решила перевести меня в другую школу посреди первого класса, но мама сказала, что уж как-нибудь сама разберется, без Ольги Витальевны, и что я проведу зимние каникулы в Петербурге, привыкну там ко всему и адаптируюсь. Папа сказал, что адаптироваться – это почувствовать себя в своей тарелке. Мама сказала, что папа всегда всё слишком сложно объясняет и что ребенку трудно понять, что такое «в своей тарелке». Но я знаю: «в своей тарелке» – это фразеологический оборот, нам объясняла Ольга Витальевна. У нас в школе была очень сложная программа, а в Петербурге, говорят, еще сложнее. Но Ольга Витальевна сказала, что я справлюсь и что я должен быть сильным.

Озеро, на которое мы едем в Петербурге, находится в театре – мама говорит, что в этот театр обычно пускают одних только иностранцев, потому что это бывший царский театр, маленький, и много народу туда не влезает. Билеты ей принесли на новой работе, из-за которой мама решила переехать в Петербург.

Пока мы здесь не устроились, живем в маленькой чужой квартире, где пахнет чужими вещами и кошкой, и ездим в ужасно глубоком метро – даже не видно дна. Ольга Витальевна говорила, что это самое глубокое метро в мире. В метро я смотрю, как моя рука догоняет мамину на поручне, хотя я рукой совсем почти не двигаю.

На Дворцовой площади мама заставила меня вставать сначала на фоне колонны, потом на фоне арки, а потом – на фоне зеленого дворца. В этом дворце музей, а раньше здесь жил царь с дочками и сыном. Ленин – которому в нашем городе стоит памятник на площади с елкой – устроил в Петербурге революцию, царя с дочками и сыном увезли к нам на Урал, застрелили, а потом сожгли. Папа возил меня на Ганину Яму, где сжигали царя, – я думал, это просто большая яма, а на самом деле там много маленьких деревянных церквей с такими же зелеными, как этот дворец, крышами. Внутри темно, печка и бородатые старики запрещают бегать и громко спрашивать у папы, можно ли поставить свечку, а потом задуть. Яму почти не видно, вокруг нее деревянные мостики и большой крест в честь царя. Я не могу сложить в голове того царя, из дворца, с этим – с Ганиной Ямы, мне всё время кажется, что это были совсем разные люди.

Про революцию, Ленина и царя мне рассказывал папа, и теперь я не хочу слушать, как мне всё то же самое, только скучнее, рассказывает Глебсон. Он на самом деле Глеб Борисович, мамин друг, но мы в школе одного Глеба из третьего класса дразнили Глебсоном, и этого Борисовича я тоже называю Глебсоном, когда он и мама не слышат. Ольга Витальевна говорит, что это значит – говорить про себя, хотя я-то говорю не про себя, а про Глебсона... Так вот, я не хочу слушать, как Глебсон рассказывает папину историю своим писклявым голосом, и не хочу смотреть, как он показывает варешкой на дворец, и не хочу фотографироваться, когда он достает камеру.

– Петенька, встань сюда, солнышко! – это мама.

– Петр, приготовься, снимаю, – это пищит Глебсон. У него голос как у того комментатора лыжного, над которым мы всегда смеялись с папой: голос как у комара.

Я натягиваю на лицо шапку, так что на снимке будет одежда без человека на фоне зеленого дворца. Я вообще-то не хотел переезжать в Петербург, и на это озеро с Глебсоном и мамой я тоже идти не хочу.

Глебсон обиженно цыкает, мама злится, наклоняется ко мне, я уже знаю, что она сейчас сделает – схватит мою руку и выпустит в нее ногти, как будто кошка.

У моей мамы сразу две профессии: она детский психолог и еще – сапожник без сапог. Это она сама так про себя говорит. И еще она говорит, что часто поступает со мной неправильно, не так, как советует поступать с детьми другим родителям.

Я очень люблю свою маму. Мамочка, я тебя люблю. А вот ты меня не любишь, потому что заставляешь ходить по Петербургу с Глебсоном и фотографироваться на каждом углу.

Мимо нас проехала розовая карета.

– Какой китч, Жанночка, не находишь? – радостно спрашивает Глебсон. Этот Глебсон больше похож на тетеньку, чем на мужчину, как тот комментатор-комар.

– Да, это не очень по-петербургски, – отвечает мама, волоча меня за руку мимо толстой лошади с длинной, как у Ленки Караваевой, челкой. Ленка Караваева обещала написать мне электронное письмо, но мама только собирается купить домой компьютер.

Мы свернули направо, там – то озеро, которое обещала мама. На самом деле там река Нева: лед в ней стоит маленьким дыбом; если спуститься туда, к воде, и сфотографироваться, а потом прислать снимок папе и в школу, то никто не поверит, что я в Петербурге. Все подумают, что я в Антарктиде.

Вот бы Глебсон сфоткал меня там, у лесенок! Я бегу вниз скорее, пока они не опомнились, но Глебсон верещит:

– Ах, Жанночка, он у тебя такой... лихой! Как же с ним справиться?

Мама догоняет меня на последней ступеньке и с размаху шлепает по плечу. Не больно. Даже не обидно. Обидно, что фотографии из Антарктиды не будет.

– Мы идем в театр, Петя! В театр, понимаешь? На «Лебединое озеро». А ты, не думая о новых брюках, бежишь к воде.

– Не говоря уже о том, – добавляет Глебсон, – что это очень опасно, Петр. У нас в Санкт-Петербурге *регулярно* гибнут люди во время *лэдохода*.

Глебсон скачет рядом с мамой, у него совершенно идиотская походка, и мне не нравится, как он всё время дышит тяжело, с открытым ртом. У него какой-то вечный насморк. И волосы стоят большим дыбом.

Театр с озером совершенно не похож на театр – просто дверь во дворец, с набережной. На другом берегу, там, где крепость, – большая надпись из ледяных букв – «С Ровым годом!».

– Это они уже переставляют, под Рождество, – объясняет Глебсон, – если написать в одну строчку «сНовымгодом» и «сРождеством», то ты увидишь, что количество букв одинаковое.

Мой папа в таких случаях говорит: «Отлично объясняешь, брат, как раз понятно для ребенка». Но я, если честно, понимаю, что Глебсон хотел сказать, и мне даже становится его немножко жалко. Он ужасно хочет мне понравиться, но не для меня, а для мамы. Я закрываю глаза и представляю, что на месте Глебсона – папа, это с ним мы идем по заледеневшей набережной Невы, и мама улыбается ему, а не Глебсону. Точно так же здесь, в Петербурге, я ложусь спать на чужом старом диване и представляю себе, что на самом деле лежу дома, в своей кровати, и на стене – старая бабушкина икона, и часы с шишечками, и за стеной папа смотрит биатлон. Пока лежишь, пока темно, в это можно запросто поверить: ночью всё возвращается, и я – как будто! – снова дома.

Глебсон сказал, что кресла в этом театре надо занимать самим, как в трамвае, – потому что на билетах нет никаких мест. Мама улыбается, но я вижу, что ей это не очень нравится: она не любит бежать впереди всех или обманывать, что стояла в очереди, папа всегда сердится на нее в самолете, что она сидит до самого последнего пассажира и выходит чуть ли не вместе с пилотами. Зато папе, наверное, понравилось бы, как Глебсон бежит впереди всех и даже легонько толкает китайскую женщину в бок – и потом машет нам из гардероба, и очки у него блестят счастливыми кругляшками. Глебсон на ходу уже стащил с себя куртку и красный шарфик и теперь одной рукой пытается взять у мамы шубу. Китайская женщина смотрит на Глебсона с обидой, но он уже мчится в зал, ему надо занимать места. Озера никакого пока не видно, но я уже понял, что оно будет на сцене. Когда мы с мамой заходим в маленький круглый зал с красивым занавесом, ушастая голова Глебсона оборачивается к нам с первого ряда. Мы сидим так близко, что как будто оказываемся среди музыкантов – правда, из музыкантов пришли только две девушки с дудками и скрипач.

– Жанночка, хочешь анекдот про скрипача? – жарко шепчет Глебсон маме на ухо, перевалившись через меня. Мелкие капельки Глебсоновой слюны летят по воздуху, я уклоняюсь от них, но всё-таки прислушиваюсь – вообще-то, я очень люблю анекдоты. Я их читаю в «Ермине», когда мама мне его покупает, а вот Ольга Витальевна говорит, что рассказывать анекдоты не всегда прилично.

Глебсон рассказывает непонятный анекдот про мышиный оркестр – что один мужик решил набрать целый оркестр мышей, и вот на всех инструментах у него играют мыши, и только на первой скрипке – еврей. Я не понимаю, что смешного, и мама тоже смеется ненастоящим смехом – когда рот улыбается, а глаза смотрят серьезно и даже обиженно. Как раз в этот момент в зал приходят музыканты и главный скрипач, которого все остальные уважительно трясут за руку. Вначале я подумал, что это дирижер – мама объясняла, что на озере будет дирижер, и, когда он обернется, надо хлопать.

Все и так хлопают – китайская женщина, которая сидит рядом с Глебсоном, даже подняла руки выше головы. Дирижер тоже поднимает руки, будто сдается своим музыкантам, и начинается музыка.

У нас в школе на уроках музыки мы проходили композитора Чайковского, и Ленка Караваева по ошибке сказала, что его зовут Корней Иванович. А мне на том уроке записали в дневнике «Дерется ногами!!!», хотя мы с Пашкой не дрались, а просто замеряли, кто кого первый достанет через проход.

Музыка красивая, но идет ужасно долго, а Глебсон за моей спиной пытается ухватить маму за плечо. Мне скучно, я думал, что на озере будет интереснее. Наконец занавес открывается, но там опять нет озера, а ходят на носочках худые и длинные люди.

– Это принц Зигфрид, – шепотом пищит мне в ухо Глебсон и показывает пальцем на самого тощего из всех на сцене – он еще и в белых колготках и с нарумяненными щеками. Очень противный, а на сцене все с ним так вежливо обращаются и танцуют вокруг него, хотя видно, что этому принцу Зигфриду на них наплевать. Он так поджимает губки и высоко задирал свои ноги в колготках, что я начинаю смеяться, и мама дергает меня за руку.

– Петр, – шепчет Глебсон, – это гениальная постановка, поверь.

Молодец, брат, как раз понятно для ребенка, думаю я и заставляю себя смотреть на сцену, хотя там почти ничего не меняется – колготочник Зигфрид всё так же выделяется перед своими гостями, а потом его мама-королева дарит ему настоящий арбалет. И как вы думаете, он обрадовался этому арбалету? Он начал так скакать, так размахивать руками и ногами, что чуть не вылетел, честное слово, со сцены – я даже испугался за музыкантов, ведь Зигфрид скакал прямо у них над головами. Мне понравилась из музыкантов одна девушка с дудкой (Глебсон сказал, это флейта), она когда начинала играть, всегда видно было, какая она на самом деле

веселая, а когда она не играла, то тихонько разговаривала со своей соседкой, и дирижер – я видел! – строго смотрел на них, как Ольга Витальевна иногда смотрит на нас с Караваевой.

– Петр, если высидишь, – снова Глебсон в моем ухе, – я тебя с мамой поведу в ресторан на Невском – это настоящий викингский ресторан, там есть доспехи и шкуры на стенах.

Я хочу в викингский ресторан, и пытаюсь перестать вздыхать, и хлопаю вместе со всеми, пока Зигфрид подглядывает за девушками в белых юбках. Это девушки-лебеди, а у него в руках арбалет, сейчас как пальнет!..

Китайская женщина тем временем засыпает и заметно кренился во сне в сторону Глебсона. Он вздрагивает, китайская женщина просыпается, и тут занавес на секундоочку закрывается. Все хлопают, Глебсон пищит: «Браво!» – и потом объясняет маме:

– Зигфрид сегодня исключительный!

Исключительный Зигфрид уже снова стоит на сцене, и, главное, там теперь озеро! Я вытягиваю шею, но не вижу ни костра, ни волн, а только музыка играет так печально, что мне хочется плакать и спать сразу. Девушка из оркестра дудит в свою флейту, а балерины в белых коротких платьях танцуют перед этим дураком Зигфридом.

Папа мне объяснял, что словом «дурак» можно ругаться, а вот словом «чмо» лучше не надо. При этом сам папа всё время ругается «чмом», и я слышал однажды ночью, как они с мамой ругались, и папа крикнул: «Да этот твой, из Питера, он же полное чмо!» А мама заплакала, и тогда я тоже заплакал. Раньше, когда я плакал, мама или папа обязательно приходили ко мне в комнату, а тогда никто не пришел, и я долго боялся засыпать.

У балерин юбки как дольки ананаса из банки – только белые. Караваева мне однажды по секрету сказала, что будет балериной, а я ей тоже по секрету сказал, что буду изобретателем. Я уже много всего придумал, что надо изобрести – особенно таблетки от смерти и еще такую машинку, чтобы люди ничего не забывали. Я рассказал Ольге Витальевне про эту машинку, а она засмеялась и сказала: «Петя, вот мне бы лично хотелось другую машинку – чтобы кое-что забыть навсегда!»

Одна лебединая балерина выпорхнула из стаи и стала особенно красиво кружиться перед Зигфридом – он, кстати, всё еще был в колготках. Жуть какая. У нас, если парень приходит в школу в колготках, значит, полное чмо. Ну то есть дурак. А этот, мало что в колготках, так еще и с арбалетом обращаться не умеет. Лебединая кружила, кружила перед Зигфридом, а в кустах, рядом с озером, прятался кто-то в черном: вот он мне понравился. Я люблю, когда в мультфильмах или книгах есть кто-то страшный или злой – они всегда в черном и с ними интересно. Мама водила меня и Караваеву на церковную елку, спектакль там был – скучота. Ангелы, дети, которые всё время за всех молятся, и никого страшного или злого. Караваева в тишине громко сказала: «Боже мой, да что ж они все такие добрые-то!», и мама вначале рассердилась, а потом, когда рассказывала караваевской маме об этом, она уже смеялась.

– О да, – улыбнулась караваевская мама, – без отрицательных героев нет интриги, и дети это превосходно чувствуют.

Караваевская мама не умеет говорить, как обычные люди, и Ленка ее поэтому немножко стесняется. А моя мама говорит, что караваевская мама одевается, как стриптизерша. Я не знаю, кто такая стриптизерша, но всё время замечаю, какие у караваевской мамы здоровенные лифчики. Пашка говорит, что лифчики вырастают у всех девчонок, но не у всех получают такие здоровенные. Хорошо, что Ленка не слышала, как мы с Пашкой про это разговаривали.

– Кто такая стриптизерша? – спрашиваю я у мамы, потому что лебединая и Зигфрид всё никак не перестанут танцевать, а того в черном видно очень плохо, и от этого мне снова скучно.

Наверное, я спросил слишком громко, потому что девушка в оркестре (она не играла) широко улыбнулась, а мама впила мне коготками в плечо:

– Прекрати немедленно!

Глебсон пытается мне помочь, шепчет на ухо:

– Вот тот, в черном, – злой волшебник Ротбарт. Он заколдовал Одетту, и только Зигфрид может теперь ее спасти.

Ну да, этот колготочник даже сам себя спасти не сможет!

И вот наконец закрылся занавес, у меня даже не было сил встать, но, когда Глебсон сказал, что мы пойдем в буфет, силы немножко появились. Это первый антракт на этом озере, и будет еще один.

Музыканты ушли, оставили инструменты, а девушка с флейтой помахала мне рукой.

...Называется, сходили в буфет. Там была такая очередь, что мама сразу отказалась стоять и пошла искать место, где можно покурить. Бедный Глебсон тоже хотел покурить, но кому-то надо было остаться со мной, и мы стояли в очереди. Курили все на лестнице, дым от сигарет прилетал к нам в очередь, и Глебсон его нюхал и всё время завистливо озирался.

Перед нами стояли иностранцы, это Глебсон мне сказал, что они иностранцы – я бы не понял, люди как люди. Но, когда подошла их очередь и уже вернулась мама (с мятной таблеткой во рту), эти иностранцы начали всё путать. Очень смешно. Один называл воду «водицка», а другой говорил, что хочет «пирожки», Глебсон вздыхал, терпел, а потом как заговорит с ними по-английски – даже быстрее, чем Ольга Витальевна умеет. Иностранцы ужасно обрадовались, и Глебсон им всё-всё перевел. Я даже немного гордился им, а вот маме это не понравилось, потому что, пока Глебсон всё переводил, прозвенели все звонки, и надо было опять возвращаться на озеро. А иностранцы остались в буфете есть свою еду. Глебсон всё время на них оборачивался и улыбался – как сказала бы Ольга Витальевна, «любезно». И китайская женщина тоже осталась в буфете.

– Нельзя заходить в зал, когда звучит музыка, это неуважение к музыкантам, – сказала мама.

Когда мы зашли в зал, уже все музыканты сидели на местах. Начался второй акт. Мне хотелось спать, кока-колы, домой в мой город и чтобы мама не сердилась. Мне не очень нравилось это озеро.

Колготочник Зигфрид вышел на сцену с глупым видом и опять начал ужасно высоко задира́ть ноги. Если честно, ноги у него действительно задирались высоко – прямо как в цирке. И он был очень похож на робота, только на дурацкого. Глебсон после этих скачков заорал Зигфриду «Браво!», и все в зале тоже закричали «Браво!» вслед за Глебсоном, китайская женщина в это время пробиралась на свое место, согнувшись пополам. Потом Зигфрид уселся на трон и стал рассматривать балерин с таким видом, как будто они все ужасные уродины и к нему приста́ют. А он помнит ту лебеди́ню с озера, которую заколдовал волшебник Ротбарт, и никакие другие балерины ему не нравятся. А его мама, которая дала ему арбалет (кстати, где арбалет-то? Не умеет играть с нормальными вещами, вот и закинул куда-то), наоборот, заставляет его смотреть на этих балерин.

– Ему надо жениться, – это опять Глебсон, с пояснениями, но смотрит при этом на мою маму, как сказала бы Ольга Витальевна, загадочно. Китайская женщина снова спит, опустила голову и делает вид, что слушает музыку.

И тут наконец на сцене появляется опять тот волшебник в черном – Ротбарт. И с ним девушка Одиллия (спасибо, Глебсон). Колготочник тут же оживляется, начинает кружить вокруг Одиллии – она тоже в черных одеждах, как волшебница, и тоже очень высоко прыгает, задирает ноги. Балет, в общем. Жаль, что Ленки Караваевой здесь нет, ей бы понравилось это озеро, наверное. И Ольге Витальевне – тоже. Она мне сказала на прощанье: Петербург – это город большой культуры. И еще это – город Петра, а значит, Петенька, это немного и твой город.

Я смотрю, как скачут по сцене колготочник с черной балериной, и вспоминаю своего папу – на озере.

Мой папа очень сильный и очень добрый. Мама всегда раньше говорила – запомни, Петенька, твой отец невероятно добрый человек. Потом она стала говорить немножко по-другому – «твой отец слишком добрый человек, с ним трудно жить». Не понимаю. Добрый – это же хорошо. Всегда все хотят добрую маму, доброго папу, добрую учительницу.

А у мамы это слово – «добрый» – получилось какое-то обидное.

Папа любит лес, природу, рыбалку и охоту. Он не любит магазины, театры, гостей – всё, что любит мама. И поэтому им вместе трудно. Бабушка Вера (папина мама) мне сказала, что мама совсем другой, чем папа, человек, а бабушка Таня (мамина мама) сказала, что папа никогда не думает про маму, а всегда хочет убежать в свой лес и палить там по глухарям.

Но ведь в лесу правда хорошо. Мне нравится. Мне нравится наш лес, Урал – и наши невысокие горы, и озеро. Папа очень ловко умеет разводить костер, и еще он срезал мне удочку и научил ловить рыбу. Первую рыбку я поймал почти сразу, как закинул удочку, но мне стало ее жаль, и поэтому папа ее отпустил обратно, в озеро.

Я смотрю на тонкий, ужасно тонкий нос Глебсона и думаю, что он (Глебсон, а не его нос), скорее всего, не умеет разводить костер и ловить рыбу – с ним на озере было бы нечего делать. На этом озере, в театре, он как дома, зато папу я здесь представить не могу: наш папа не любит балет. Я очень устал обо всём этом думать. Одиллия с Ротбартом обманули колготочника, и он начал вытанцовывать с ней вместо своей лебедини. Обманутая лебединя тоже выпорхнула на сцену, колготочник понял, что ошибся, но было уже поздно. Занавес закрылся, и они все начали выходить и кланяться – особенно долго кланялась Одиллия, как будто бы не знала, что это нескромно – так хвастаться собой. Ольга Витальевна всегда говорит: «Первый “а”, не хвастайтесь и не перебивайте друг друга, это некультурно». Но Одиллия всё улыбалась и кланялась, приседала, под мышками у нее было черно от пота.

Вот сейчас мама снова умчится курить. Еще из-за этого они с папой постоянно ссорились. Папа никогда не курил и всегда говорил маме: «Разве я думал, что у меня будет курящая жена?» А мама ему отвечала странно: «Любишь меня – люби мой зонтик!»

Еще папа не любил мамину подругу Наташу. Она не разрешала себя называть «тетя Наташа», а только – Наташа, как будто девочка. Я ее, наоборот, всегда очень любил, она красивая и хорошо пахнет, и мне в ней не нравилось только то, что она всегда просила показать ей мой дневник. А потом листала его и смеялась, хотя там вообще-то нет ничего смешного.

Глебсон вот тоже – курит. Они с мамой вечерами подолгу курят на кухне, а меня заставляют пораньше ложиться спать.

В антракте китайская женщина исчезла – Глебсон снова перегнулся через меня и шепнул маме: «Отряд не заметил потери бойца». Начинался последний, третий акт.

Я смотрю на озеро, на то озеро, что на сцене, смотрю, как лебединя и колготочник танцуют друг с другом, и вспоминаю другое озеро – наше с папой. И тут я засыпаю и вижу страшный сон под музыку – будто бы Глебсон живет теперь в нашем доме и он стал моим папой. Кажется, я кричу во сне, потому что мама вдруг берет меня на руки и начинает плакать, и все вокруг в театре, наверное, думают, что она плачет от музыки и оттого, что колготочник так высоко задирает ноги и красиво прыгает. Глебсон тоже чуть не плачет, но тут наконец балет заканчивается, и снова все выходят кланяться, даже черная Одиллия, которой вообще-то в этом акте не было.

Я очень сильно хлопаю – от радости, что всё это закончилось, и оттого, что сейчас можно будет пойти домой. Мы снова пройдем пешком через Дворцовую, потом чуть-чуть по Невскому и спустимся в метро – самое глубокое в мире. Никакого ресторана викингов со шкурами, конечно, уже не будет – слишком поздно, мне пора спать. На эскалаторе Глебсон будет заглядывать маме в глаза и поправлять свой шарфик, вытягивая шею, как голубь. Мама будет молчать и улыбаться одними губами. А я – вспоминать про Ольгу Витальевну и Ленку Караваеву

и думать о том, что зима скоро закончится и что летом мы с папой и мамой, как в прошлом году, обязательно поедем на озеро.

Под факелом

Платоныч сидел на причале, смотрел на мужика с удавом и мужика с саксофоном.

До катера оставался целый час: большой круглый циферблат висел на цепи, как медальон, и стрелки было видно издалека. Мужик с удавом и мужик с саксофоном знали, что времени навалом. Отдыхали. Удавщик дремал, поглядывая, впрочем, на сумку с кормильцем привычно встревоженным взглядом – как мать на младенца. Саксофонист, казалось, и вовсе крепко спал, во сне подергивая губами. Платоныч вспомнил Ленку Снегиреву из консерватории – она говорила, что с духовыми противно целоваться. Это сохранилось в памяти, и ее красный свитер с черными точками сохранился, а сама Ленка – нет. Так что слово «вспомнил» здесь не очень подходит, Руфь его, наверное, вычеркнула бы. Платоныч вспомнил (вот тут это слово подходит без всяких оговорок) жену, увидел ее будто наяву – пижама в серую клеточку, тонкий, словно из-под бельевой прищепки, нос. Даже не нос – изящный намек на него. Поллитровая чашка кофе, очки на цепочках, стопа бумаги справа, стопа – слева. Как хорошо, что ее здесь нет!

Май в Бэттери-парке, два самых любимых цвета Платоныча – ивово-зеленой листвы и свежего неба. Даже эти, которые скребут по небу, не портят вид. Смотри да радуйся! Дожил, добрался, доехал.

Мужик с удавом зевнул широко, как лев, клацнул зубами и устало потер рукой глаза. Тоже, наверное, считает, что слишком много работает. И что жизнь его обманула. Поманила, а потом выставила прочь.

На скамейку Платоныча прыгнула черная белочка – если выражаться корректно, «цветная». Руфь большая специалистка по части политкорректности. С гастарбайтерами раскланивается, как с профессурой, и читает нотации соседским детям:

– Нельзя называть человека чуркой! Это неуважение!

Соседская мама (по профессии – флорист) однажды швырнула ей в спину, как комок грязи:

– Своих рожала бы да воспитывала.

Руфь на мгновенье вспыхнула, и Платонычу стало ее жалко. Тоже на мгновенье. Здесь виной не меряются, конечно, но не в нем было дело. Хотя, если честно, никогда они не переживали свою бездетность так, как это делали за них окружающие. Старухи шептались, молодые мамы прятали от Руфи детские личики («бездетная – глазливая»), мужики сочувственно трепали Платоныча по плечу, из жалости звали «как-нибудь на рыбалку».

Как хорошо, что удавщик и саксофонист не зовут его на рыбалку! Что им дела нет до соседа по скамейке, как и до неpolitкорректной белочки с мелко трясущимся хвостом. Благословен будь в своем равнодушии, Новый Йорк!

Платоныч встал, закрыл глаза и вытянул руки вперед, будто принял по строгому врачебному приказу позу Ромберга. «Явственное покачивание в позе Ромберга», – вдруг вспомнилось ему. Эти слова произносил кто-то из прошлого, из давней студенческой компании. Медики развлекали музыкантов историями про ночные вызовы, журналисты запоминали детали и термины.

– А вот я бы хотела попасть на вскрытие! – дерзко сказала девушка в клетчатой юбке. Юбка была из набора скромницы, как и длинная коса и скрипка в футляре, которую девушка таскала за собой повсюду в надежде – вдруг попросят сыграть? И тогда можно будет показать всё сразу: и быстрые пальчики, и покорную шею, и глаза, полузакрытые в экстазе.

– На стол или посмотреть? – отозвался будущий врач Иван Орлов, которого в компании звали Орел Иванов.

– Как смешно! – обиделась музыкантша. – Мне хочется увидеть эти мертвые тела.

«Идиотка», – решил Платоныч. Он тогда был, кстати, еще не Платоныч, а студент второго курса журфака Алексей Платонов. И рядом с ним сидели две одноклассницы, Оля-как-ее-там и безымянная брюнетка, такая красивая, что было стыдно думать о ней, не то что смотреть на нее.

– Ну, если хочется, значит, пойдем! – развел руками Орел Иванов, и Алексей подумал, что они правда похожи на орлиные крылья. Голова у Орла была бритой, с вмятинами, как на переспевшем персике, на шее висела золотая цепь с медальоном – вот как эти часы на причале, а глаза – голубые, с красными прожилками. Будущий педиатр.

– Пойдем, пойдем! – запрыгала девчушка со скрипкой.

Грудь ее не соответствовала общему замыслу, выбивалась из него в прямом и переносном смысле – и тоже прыгала вверх-вниз. Орел зачарованно следил за процессом, брюнетка возмущенно отвернулась.

– Ирина, ты с нами? – Скрипачка схватила брюнетку за руку, и та кивнула, без всякой, впрочем, охоты. Оля-как-ее-там к тому времени испарилась, зато пришла Ленка безликая Снегирева в красном свитере и с Тромбоном. Совсем недавно у нее был Гобой Сережа, потом его сменил Тромбон, тоже Сережа, которого медики быстро переименовали в Тромба.

Странно всё вспоминается – частями, заплатами.

Руфь в последние годы увлеклась аппликациями – клеила их из всего, что попадалось под руку, – тоже какие-то заплатки, частички подобранной жизни, своей и чужой. Платоныч однажды увидел в альбоме осенние листья и бумажные клочки с подплывшими фиолетовыми буквами, бессмысленными закорючками, а ниже – окончательная мерзость, чьи-то локоны, тоже включенные в композицию.

Когда жена собирала пазлы, это было еще куда ни шло – сидела сторбившись за большим столом и просеивала неровные фрагменты.

– Труднее всего с небесами, – вздыхала.

Платоныч от жалости к ней, от безразличия, замолкал, уходил из дому, а вернувшись, видел всё ту же круглую спину, одно плечо выше другого. Телевизор бубнит что-то тихое, сам для себя, на столике кусочек неба. Размером с овчинку.

Алексей Платонов не хотел идти в морг – но на него смотрели все девушки, и то ли ради Ирины, то ли ради грудастой скрипачки Аси согласился. Гадкая затея, но каждый был молод и смерти ни в каком виде не боялся. Она могла иметь отношение к кому угодно, только не к ним. Ася отдала Платонову футляр с инструментом, он не знал, как это расценивать – шанс? Или записали в друзья-носильщики? Ася подпрыгивала на ходу, как маленькая девочка, Орел шагал налегке, заинтересованно хмурясь, слушал болтовню Снегиревой, а Тромб донимал разговором Ирину. Лучше бы сыграл тревожную музыку. Еще были какие-то люди: медики, музыканты, журналисты – вполне внушительная толпа. Сойдет за группу практикантов.

Руфь сделала бы здесь аппликацию: осеннее небо (бумага, вымоченная в луже), скелетики из детской настольной игры, пририсованные слезы. Может быть, нотный стан с пирамидками аккордов.

Орел натащил откуда-то белых халатов, все смеялись, девчонки недовольно разглядывали себя в зеркале: слишком широкая одежда, фигуру не видно! И пуговицы разные, будто вставные глаза у старых плюшевых игрушек.

У входа в анатомичку вергилий Иванов пошептался с какой-то женщиной тридцати преклонных лет, таращившей глаза на пришельцев. Скрипачка Ася еле сдерживала, давила смех, как простуженный зритель кашель в партере. Потом дверь открылась, ударил в нос едкий запах, и Орел стащил простыню с мертвого тела.

Алексей ничего не успел увидеть, кроме неживой руки, лежавшей покойно, как у спящего. Ему хватило.

Приятеля столпились у стола, девчонки громко ахали, Тромб неловко повернулся и задел разложенные инструменты. Что-то упало, зазвенело, покатилося, лязгнуло. «Нож упал – мужик придет», – вспомнилась старая присказка. Платонов аккуратно прислонил черный футляр к стене и пошел прочь. Нож упал – мужик уйдет. Этажи, лестницы, потолки, лепнина.

– Вы домой в халате собрались? – насмешливый голос.

Медичка. Губки, зубки, ножки, сережки.

Платонов выпростался из халата, бросил его на скамейку. Девушка подняла белое одеяние, аккуратно сложила – как продавщица в магазине складывает рубашку, которая «не подошла».

Так они познакомились – Алексей Платонов и Руфина.

– А. Платонов? – усмехнулась. – Ну, знаешь, с таким именем в писатели не ходят. Уже занято!

Руфь сразу же решила, что Платоныч станет писателем. Именно она придумала ему псевдоним «Марк Платонов», а себя велела звать Руфью.

– Гой ты Руфь моя родная, – пропел Орел, когда Платонов спустя несколько недель привел подругу в компанию. Руфь ответила будущему педиатру долгим, как финальная нота в арии, взглядом, в котором, кроме ненависти, было что-то еще.

Она училась на стоматолога, но в начале второго курса поняла, что медицину придумали не для нее.

– Буду исследовать не зубы, а души, – что-то такое сказала Руфь, прежде чем унести документы в деканат философского, где давно привыкли к беглым медикам.

Она быстро подружилась с Ириной, Олей-как-ее-там, Снегиревой, терпела даже маленькую скрипачку, которая на втором курсе перестала таскать всюду свою скрипку – и теперь носила с собой книжки Гачева.

Платонов к тому времени стал для всех Платонычем – полуотчество, недофамилия. Переводится как «верный друг, которым легко и удобно помыкать, приятен, никогда не обижается».

– Они не ценят, не понимают, не отражают твой талант! – сердилась Руфь. – Я, конечно, люблю и Орла, и девчонок, и даже Тромба, но разве можно их сравнивать с тобой?

Сережа-тромбон к тому времени приобрел винно-красный цвет лица – не хотелось выяснять, отчего, освоил гобой д'амур и укрепился в компании в отличие от рано упорхнувшей Снегиревой. Ленка вышла замуж на третьем курсе – за технаря, чужака, и как будто вышагнула со сцены. Платоныч запомнил, что молодые венчались, первыми в его жизни. Зрелище показалось ему нелепым, но дивным. Золотой венец над головой и белое, взбитое платье Ленки он видел перед собой и сейчас, а лицо ее – нет. На месте жениха и вовсе расплывалась нечеткая клякса с бородой, в потешном, из нашего времени глядячи, двубортном костюме. Еще одна деталь уцелела – усы у жениха были тонкие, вытекали из носа, словно две узкие блестящие реки.

Тромб также присутствовал на таинстве, он легко пережил разлуку с Ленкой. Улыбался во весь кариес и напористо ухаживал за самыми юными девушками.

– Двадцать два – мой потолок, – заявил он однажды Орлу, и тот не нашел что ответить.

С Гудзона прилетел далекий гудок – словно робкий голос гобоя. Удавщик и саксофонист встрепенулись, но тут же снова задремали. Время текло здесь так медленно, как нигде в Нью-Йорке. Во всех других районах города время торопили, рассчитывали, подгоняли и тратили – оно скапливалось, оседало в Бэттери-парке.

Саксофонист бросил черной белке кусочек хлеба – она вначале отпрыгнула от него, а потом подбежала, приняухалась и повернулась к мужикам с таким негодованием на мордочке,

что они рассмеялись. Все трое, включая Платоныча. Зубы у этих работников улицы были сахарно-белыми, как у людей, которые никогда в жизни не пробовали сахара.

Кораблик должен был прийти с минуты на минуту. К причалу подтягивалась публика – туристы, группа школьников – невероятно толстых, как показалось Платонычу, под руководством миловидной учительки-мулатки, тоже, впрочем, весом килограммов в восемьдесят. Все же Платоныч на всякий случай выпрямил спину, поправил очки. Раньше Руфь всегда говорила, что ему идут очки.

– А в линзах у кого угодно будет глупый вид! – это она начала добавлять в последние годы.

Первый рассказ Марка Платонова назывался «Пелагиаль». Не какое-нибудь там «В лесу» или «На баррикадах»! Пелагиаль, глубина глубин. Язык – сочный, как его омоним на тарелке. Ружья стреляют, персонажи уверенно шагают к финалу – и не на глиняных, не на картонных ногах. Руфь сказала:

– Так хорошо, что даже страшно!

Зубки, губки, ножки, сережки. Легкий локон, прибившийся к уху, волоски, случайно скрепленные ювелирным замком. Они поженились в конце июня, затерялись среди школьных выпускников, которые буйно встречали в тот день свою взрослую жизнь.

Платоныч окончил журфак, после практики остался в городской газете, через два года Руфь стала дипломированным философом. Как все тогда, оба зачитывались Набоковым и о нем, и Руфь примеряла на себя роль Веры. Хорошая роль – богатая, неоднозначная, есть что играть. Платоныч не сразу разобрался, что и он тоже – в игре. При всей своей начитанности он так мало видел и знал... Любое интервью становилось для него событием. А многие из тех, кого он расспрашивал, задерживались в жизни надолго.

Руфь ненавидела газету, – и сами эти страницы, грязные, скучные, и то, что Платоныч был привязан к работе, что ему нравилась журналистика.

– Она отбирает у тебя силы, те, которые можно целиком отдать прозе! – возмущалась жена. – Ты можешь себе представить Владимира Владимировича, который берет интервью у заведующей детским клубом краеведов?

Платоныч вообще не мог представить себе Набокова живым человеком. Набоков – это слова, слова, слова.

«Пелагиаль» отправилась в литературный журнал в мае, еще на четвертом курсе. За окном гремели лихие девяностые, правда, никто не думал о том, что они лихие, да и о том, что «девяностые», тоже. Годы как годы. Молодость. Книги пахли вкусно, а газеты – отвратительно, высокая печать – это вам не высокая литература. Журнал мрачно молчал, неизвестно было, добрался ли рассказ Платоныча до адресата. Руфь переживала сильнее мужа, она окончательно утвердила себя на роль жены мастера. Вера Слоним с букетом желтых цветов в руках – как-то так.

А Тромб в том мае собрался уезжать навсегда в СыШыА. Так, кривляясь, он представлял свою мечту – как любимую, но не бесспорную девушку, за которую слегка неудобно перед компанией. В СыШыА Тромба ждал туман возможностей, из них могло вырасти что-то бесценное, а могло всё начаться и окончиться туманом. Вступали духовые: шутил фагот, рыдал гобой.

Провожали друга в бывшей пельменной, а ныне пиццерии – с белыми пластиковыми стульями, на которых темнели прожженные сигаретные раны: лихие, сказано же, девяностые! Урал, братки в багровых кашемировых доспехах, и целая страна лежит на спине, поделенная белыми пунктирными линиями, словно образцовая мертвая туша. Ленка Снегирева мяла бумажную салфеточку, пока не разорвала ее в клочки. Не хватает страстей с эмоциями, подумал тогда Платоныч, скучает с мужем. Муж в пиццерию не пришел. Зато прилетел Орел Иванов – долго пикировал, выбирал место для приземления. Все тянулись за ним, да- же герой дня Тромб, который, кстати, сразу же объявил: каждый платит за себя. Из тебя, Серега, вый-

дет отличный американец, буркнула Руфь. Пиццы, похожие на детские поделки из пластилина, запивали втайне пронесенной водкой и корейским соком со вкусом химического винограда. Сложно было преломить такой хлеб, но они преломили. Тромб смахивал слезы, но не забывал поглядывать на часы.

Именно тогда кто-то сказал:

– Надо сфотографироваться. На память!

И пошли, поздним вечером, почти ночью, в мастерскую к Геннадию Гримму, который был сразу и фотограф, и художник, хотя больше всего мечтал стать монахом. Но монах никак не вырисовывался – было слишком много вокруг мягкого, розового, душистого света. И вообще, честно сказать, ничего не вырисовывалось. Натурщица сидела, окутавшись простыней, как бан-ным полотенцем, надменно смотрела на завалившуюся толпу. Плечи у нее были в родинках всех цветов и размеров.

Геннадий был не рад, но принял бутылку в дар, шепнул что-то натурщице, и она ушла прочь, волоча простыню по полу. Победа, покидающая баррикады. Руфь уже кричала:

– Платоныч, иди ко мне! Фото для истории! Юность поэта – проводы друга!

Ленка Снегирева ухитрилась в последний момент отвернуться, так что для истории запечатлелись только темные кудряшки. Незапоминаемое лицо! А все остальные узнаваемы. Руфь со своим тонким носиком, хохочет. Надменный Орел в турецком свитере. Бородатый Тромб. Ирина с полусловом у губ – легкий дымок несказанного. Генка Гримм, отскочивший от аппарата за секунду до кадра. Скрипачка Ася без скрипки. И сам Платоныч, с мерзкими усиками. Ирина звала их «усы комбайнера», а Руфи тогда всё в нем нравилось.

Гримм быстро опьянел, начал доставать свои работы – Платоныч, хоть и тоже был нетрезв, удивился тому, как изменилось лицо художника. Только что был частью компании – и вот уже нет этой части. Мастер скорбно несет на Голгофу свои картины, одну за одной. Смотреть их было интересно только Ирине и Орлу, Платоныч не понимал, чем они хороши, Руфь и остальные откровенно томились.

И опять не вспомнить, кто первым сказал эти слова:

– А давайте встретимся ровно через двадцать лет! Под факелом Статуи Свободы!

– Я, например, не собираюсь в Америку, – вот это точно был Гримм. – Чего я там забыл?

– Ну, это ты сейчас так говоришь, – возразила Ирина. – А давайте правда встретимся? Все там будем!

Протянули друг другу руки, Гримм записал дату в блокноте. Он, кстати, и напомнил Платонычу про эту встречу – за два месяца до назначенного дня прислал через фейсбук отсканированный листочек. Желтый, как для музея. «22 мая 2011 года, 14:00. Под факелом».

«Лично я никуда не поеду, старичок, – писал художник в личном сообщении, – хотя это было бы забавно. Но я по уши в работе. Делаю сразу две квартиры».

Геннадий Гримм был теперь художником по интерьерам. Жаловался, что все подряд требуют минимализм и белый цвет.

– Да у него просто денег нет на СыШыА, – рубанула Руфь, когда Платоныч рассказал ей о письме. – И у тебя, кстати, тоже.

Деньги были – Платоныч плохо учился у жизни, но кое-что всё же вызубрил. Работаем для денег, потом тратим деньги, чтобы снова работать. Он не Руфь, чтобы клеить дурацкие дневники с чужими волосами и пробиваться фрилансом. Он вообще не Руфь!

Мужик с удавом и мужик с саксофоном спрыгнули со скамьи за секунду до того, как на воде появился прогулочный катер. Саксофон выдал взвинченную, вихрастую мелодию, удав проснулся и закачался в трансе: всё было готово для встречи прибывших гостей, у которых, знамо дело, полны карманы лишних даймов. Вот Платоныч, например, всегда подает уличным музыкантам, даже если играют они безобразно. И сейчас тоже бросил в черную мятую шляпу

несколько монет. Сроднился с парнями. Удавщик с достоинством поклонился. Саксофонист был весь в музыке, не здесь.

– ...Никто не придет, – каркала Руфь, пока ее муж встряхивал набитый рюкзак, примеряясь набить его еще чем-нибудь крайне необходимым. – Никто и не вспомнит, будешь там стоять, как дурак. Человек с факелом и флейтой...

Звякнула цепочками, брякнула очками и ушла в комнату к своим картинкам и картонкам.

«Пелагиаль» не опубликовали – Руфь звонила в редакцию, пыталась говорить взрослым голосом, но слушала ответ с девчоночьим обиженным лицом.

– Сказали – не возьмут. Им такое не надо.

И тут же передразнила:

– Какое-такое! Сами не понимают, что им надо. Печатают всякую дрянь.

Платоныч промолчал, на душе саднило – но было и облегчение. Теперь можно не маяться будто бы призыванием, а спокойно работать в газете. Или на радио податься. Музыкальное.

– Радио? – выпучила глаза Руфь. Не Вера, а Надежда. Константиновна Крупская. – Ты издеваешься?

Она еще раз перепечатала рассказ, и конверт полетел в другую редакцию.

Так реагировала Руфь.

Платоныч с утра до вечера брал интервью у известных спортсменов, выдающихся музыкантов и ветеранов Великой Отечественной войны. Снашивал пару ботинок в сезон – ноги кормили, но обувь просила каши.

– Глаза боятся, а ноги бегают, – шутил Орел, уже не вспомнить, по какому поводу. Он работал в детском ожоговом центре, родители маленьких пациентов его побаивались, зато малыши, те, кто мог, ходили за ним по пятам. «Появился детский врач – Глеб Сергеевич Пугач».

А Платонычу нравилась редакционная жизнь, нравилось, что всё здесь требовалось делать быстро, что газета выходила почти каждый день и он был нужен в редакции каждому. Он завел сберкнижку, парочку псевдонимов («Марка» берегли для литературы) и дружбу с выпускающим редактором. Однажды редактор пригласил Платоныча к себе домой, где устроил жестокую сцену жене, подавшей к столу жесткие отбивные. Швырял тарелки, будто бы в бессилии закатывал глаза. Милая робкая женщина улыбалась виновато и жалко, за стеной плакал ребенок, к которому никто не подходил. Хозяйку реабилитировал пирог с яблоками (Платоныч нащупал языком ореховую скорлупку в начинке, но тут же спрятал ее за щекой), и вспыльчивый редактор успокоился, вытащил из стола растрепанную пачку бумажных листов. Какое-то время подраививал ее, испытующе взглядывая на гостя.

– Мои стихи, – сообщил наконец. – Вот, например... «Сонет любимой». Не возражаешь?

Пачка была толстая, сидели долго. Редактор раскраснелся, встал, ходил по комнате с листами. У Платоныча затекла спина, ему очень хотелось курить, но он вежливо слушал. Когда стихи иссякли, вновь прилетел испытующий взгляд.

– Ну, Алексей, чего скажешь?

Хозяин запыхался, разволновался от чтения.

Врать Платоныч тогда еще не научился.

– Вот то, последнее, про зябкую веточку, – кажется, было неплохо, – промямлил он.

– Неплохо? – взревел редактор, и Платоныч с ужасом оглянулся в поисках хозяйки, но женщина благоразумно укрылась в дальних комнатах. Ребенок тоже молчал. Возможно, они обнялись и закрыли друг другу рты ладонями. Придется расплачиваться самому. – Да меня такие люди хвалили, каких ты только по телику видел! У меня целый сборник уже... готов к печати! Вот, смотри!

Дернул ящик стола, тот заело, и хозяину пришлось раздраженно высвобождать какую-то клеенчатую папку, откуда выпали переплетенная в обойную бумагу книжечка и пухлый конверт с визитными карточками.

Позабыв о книжечке, редактор принялся любовно выкладывать карточки на столе, одну за другой, словно пасьянс.

– Видишь, какие имена? Ты читай, не стесняйся.

Платоныч покорно вглядывался в золоченые буквы, свитые в имена и фамилии выдающихся людей, но благоговение всё никак не подступало. Жалости зато было – хоть излишки продавай. И еще – тошнота. И желание уйти отсюда как можно скорее. Редактор вглядывался в лицо гостя, как будто на нем вот-вот проступят какие-то важные письма, а потом махнул рукой, и они пошли на балкон курить.

Наутро в редакции редактор хмуро взглянул на Платоныча и отвел глаза. А уже через день опять весело болтал с ним в курилке.

– Не дай бог такой судьбы, – сказал Платоныч Руфи, но она отмахнулась: успокойся, Марк Платонов, твой рассказ будет опубликован в районной газете. Я договорилась. Не ах, конечно, но с чего-то же надо начинать? Правда, я прелесть?

«Пре-лесть», – вспомнил Платоныч. Недавно делал интервью с архипастырем.

В газете работала Оля-как-ее-там, у нее внезапно опустел редакционный портфель.

«Пелагиаль» увидела свет, и Платоныч впервые столкнулся лицом к лицу с Марком Платоновым. Это было не самое приятное знакомство. Честно говоря, читая рассказ, спущенный в подвал газетной полосы, Платоныч корежился, как от лимона. Сочинение неискреннее, претенциозное, блеклое, и ружья все заклинило, и герои были – картонки на глиняных ногах. Бумажные куклы, которых в детстве любила младшая сестра Платоныча, Анжелика.

А Руфь устроилась на работу в рекламное агентство и «создавала условия для мужа».

– Ты только пиши, умоляю! – говорила она, подражая то ли Вере, то ли Надежде. – А я нас прокормлю.

Платоныч молчал. Руфь получала чисто декоративную зарплату и так обстоятельно ненавидела свою начальницу, что не продержалась в своей должности даже года.

Однажды Платоныч заметил, что жена перестала носить сережки. Спросил почему, а в ответ прилетело змеиное шипение. В русском языке много шипящих звуков, и, умеючи, этим можно отлично пользоваться. Руфь – пользовалась, а еще она теперь высказывала мужу многое, о чём прежде молчала. Оказывается, он некрасиво ел, шаркал ногами, не умел сочетать цвета в одежде. Носил черное с коричневым – да за такое казнить надобно! Платоныч неинтеллигентно вел себя с соседями, имел порочную привычку съедать последний кусок, отразил второй подбородок. Каждый день добавлял к списку всё новые и новые уничижительные детали. Как она, бедная, жила с ним в одной квартире?

«Я не живу, а выживаю», – сказала бы на это Руфь.

Платоныч по-прежнему снашивал обувь днем, ночью же писал рассказы, чтобы не разочаровывать Руфь. Что-то у него начинало получаться, хотя газетой от его писаний всё равно несло за версту. Так говорил, нет, не Заратустра, а Леонид Шибко, заведующий отделом прозы в литературном журнале, куда Руфь устроилась корректором. Платоныч вымучивал тогда из себя целый роман. А Руфь и Шибко подружились – она разделяла его взгляды на человечество, откровенно презирая весь мир в целом и каждого его обитателя в отдельности.

Опасно перегнувшись через борт катера, Платоныч думал, что у жены и завпрозой вполне мог быть роман – свой, не Платонычев. Во всяком случае, Шибко как-то резко сменил вдруг презрительный тон на заинтересованно-терпеливый. И предложил «показать работу».

Роман был из жизни «газетного волка», автор в подробностях описывал редакционные будни, жизнь с молодой и строгой женой, в общем, если у Шибко еще и были какие-то лакуны в познаниях о семействе Платоновых, то роман их полностью ликвидировал.

– Мы напечатаем, – вяло пообещал Леонид.

Руфь летала и ахала, звонила в издательства и представлялась «агентом Марка Платонова». В мае роман вышел и был оскорбительно обмолчан.

– Ну хоть бы гадостей написали! – страдала Руфь.

Платоныч тем временем стал заведовать отделом культуры в газете и вступил сразу и в Союз журналистов, и в Союз писателей. Тогда же у сестры Платоныча, Анжелики, родилась дочка Анечка, а Орел Иванов стал гордым отцом мальчика Коли. А через полтора года – еще и гордым отцом мальчика Саши. Все вокруг принялись столь стремительно размножаться, словно от этого зависело что-то общественно важное, жизненно необходимое, чего Руфь, к примеру, долго не понимала.

– Мои биологические часы идут по американскому времени, – отшучивалась жена, когда подружки (они тогда еще были) пытали ее беседами о горшках и снимками младенцев.

Да, у подруг появлялись дети, тогда как Руфь могла предъявить в ответ только снимок ультразвуковой диагностики, где красовалось целое созвездие полипов. Старушка гинеколог пыталась наглядно объяснить пациентке, что именно с ней происходит, – держала в руке объемную пластмассовую модель женской репродуктивной системы, водила указкой по трубам и яичникам, Руфь испуганно кивала.

Потом была унизительно неопасная, проходная операция, после которой Руфь неделю пролежала дома, пытаясь читать «Аду». Она стремительно похудела, а потом начала так же стремительно набирать вес. Утром просыпалась – думала о том, как приятно будет вонзить зубы в хлеб с маслом. Тогда же она начала прятать от Платоныча самое вкусное, купленное себе, – выстраивала баррикады из банок в холодильнике, укрывая от невнимательного мужского взгляда аппетитные пакетики с французскими сырами.

Тромб писал из Америки, что у него контракт с оркестром и роман с джазовой певицей. Недавно Платоныч видел по телику концерт этой певицы. Красиво вытянутое, подкачанное тело. Рот как у механической куклы, с челюстью, которая откидывается вниз, будто у Щелкунчика. Зубы – белый ровный забор. И пластиковый, невыразительный голос. Для джаза она была пресна, на такой воде хороший суп не сварить. Зато красивая, мысленно похвалил Тромба Платоныч. Рядом с сокрушительно, словно выполнявшей особое задание, стареющей Руфью она бы выглядела дочерью.

Но дочери – как и сына – не было.

«И всё-таки самое главное в жизни – быть матерью», – это делилась мудростью маленькая скрипачка Ася. Платоныч читал ее дневник в Сети, время от времени. Ася фотографировала своего сына Юрашу с первых часов жизни – с бирочками на ножке и ручке – и выкладывала в блоге подробные отчеты о том, как он поел, каким стал обратный процесс и так далее. Гачев – позабыт, Юраша восходил в Асиной жизни каждый день, как солнце! А бездетный Платоныч разглядывал фотографии чужого детеныша и думал: интересно, как сейчас выглядит Асина грудь? Часто ли она прыгает с хозяйкой вместе?

Друзей Платоновы давно растеряли. Компания распалась, кто-то куда-то переехал, кто-то, возможно, умер во цвете лет. После хвастливых писем о джазовой певице замолчал и Тромб, переписка прервалась. В гости Платоновы ни к кому не ходили, и даже по работе он встречался с сокурсниками редко.

Новое тысячелетие Руфь встретила новой идеей. Они переедут в Москву, где талант Платоныча расцветет в полную силу! Понятно ведь, почему он не может сделать решительный рывок и покрыть себя неувядаемой славой (Платоныч представлял себе эту славу, будто упавшую палатку, обрушившуюся на него ночью во время дождя) – потому что в провинции нет условий.

– Тебе нужно быть в гуще событий! Надо общаться, знакомиться, стать частью системы!

Платоныч впервые взбунтовался – отказался уезжать. Тогда Руфь уехала одна, пожила в столице с полгода и вернулась – угасшая, виноватая. Жалкая. Ничего не рассказывала и только однажды созналась:

– Я так виновата перед тобой. Наверное, ты был бы счастлив с другой женщиной.

Платоныч промолчал. Однажды, на пресс-конференции, когда он положил свой диктофон на стол к заезжей знаменитости, его подкараулили и счастье, и другая женщина. Диктофон у Платоныча был точно такой же, как у большинства журналистов, – среднего размера и качества. Знаменитость торопилась, быстро разделалась с вопросами и, оскалив зубы для прощального снимка, поцокала прочь. Пишущие люди стремительно разбирали пишущие устройства – Платоныч был уверен, что на столе остался его диктофон. А потом, когда сел расшифровывать запись, долго не мог ничего понять – пресс-конференция была на месте, но до нее, вместо нужного интервью с артистом из мюзикомедии, шли чужие беседы, которые вела взволнованным грудным голосом смутно знакомая женщина.

Говорила она в основном о музыке. Вы знаете, спрашивала у молчаливого собеседника (на заднем плане подвизгивали скрипки), что Моцарт ненавидел трубу? Она была для него слишком простым, грубым инструментом. Моцарт на то и Моцарт, чтобы всё вокруг него было красиво, даже когда умираешь. Валторна – лесной рог, вальд хорн, представляете, как меняется звук на протяжении нескольких метров этой закрученной трубы? Тромбон – ну, здесь всё понятно. Тромбон – звук ужаса. Все страшные, нагнетающие ужас темы в фильмах, все эти та-да-да сыграны тромбоном. Кларнет – и это тоже *alles klar*. Клар-нет, чистый звук. Гобой – любовь. А фагот – вязанка дров! – незаменим, чтобы шутки шутить. И может изобразить любой звук. Вот хотя бы такой, как дальний гудок парохода.

И здесь смутно знакомая женщина изображала гудок. У-ух. Платоныча в жар бросило, будто кто-то сыграл ему в ухо нагнетающую ужас тему. Он раз сто перекручивал запись туда-обратно. Слушал пароход. А потом ему позвонили.

– Так и знала, что мы встретимся как-то по-дурацки, – сказала Ирина. – А я ведь тебя не узнала. Ты больше не носишь те жуткие усы?

Платоныч машинально провел пальцем под носом. Соседка по катеру, дряблая, но неотребимо эффектная блондинка с колоссальными золотыми звездами в ушах с интересомглянула на него поверх темных очков. На локте у блондинки, будто сумочка, висел крохотный старичок, смотрел слезящимися глазками на сверкающие пики Манхэттена. Платоныч предположил, что блондинка забрала папу из дома для престарелых на выходной день, и вот они едут вместе в путешествие, как раньше, когда никто еще не был ни дряхлым, ни слезящимся.

Удавщик и саксофонист превратились в черные точки на берегу, а потом исчезли вместе с берегом. Первую остановку объявили минуту назад – музей на острове Эллис.

Ирина писала для детей книжку о музыке, с дурацким, на ее взгляд, уточнением «познавательная». На интервью бегала редко, только для денег. И была такой красивой, что Платоныч едва осмелился сказать вместо «здравствуйте»:

– У-ух!

– Я тоже послушала твои записи, – не смутилась Ирина. – Ты всё такой же терпеливый и доброжелательный. Подсказываешь людям нужные слова.

– Зато ты никого не слушаешь! Человек пытается рассказать историю, а ты его перебиваешь. Непрофессионально!

– А как Руфь? По-прежнему лепит из тебя Набокова? Читала я тут недавно твой рассказ. Сказать, что думаю?

– Не говори, – попросил Платоныч. – Не надо.

Руфь к тому времени, кажется, махнула на него рукой. Их по инерции еще иногда звали на какие-то местные тусовки, пару раз приглашали в библиотеки, на встречи с читателями. На этих встречах собиралось человек пять, и все они в основном были сумасшедшие. «Какой писатель, такие и читатели», – говорила Руфь. Она к той поре говорила Платонычу всё, что хотела.

– Ну почему же, – смиловилась Ирина, – у тебя есть интересные наблюдения. Сравнения. Метафоры там всякие.

Платоныч сначала хотел надуться, а потом рассмеялся. С Ириной было легко. Так, будто они не в душном городе, где все вечно недовольны погодой, а плывут по Гудзону или Ист-Ривер.

Капитан буркнул что-то в микрофон, и народ начал спускаться по трапу к музею. Платоныч шагал вместе со всеми. Журналист внутри него (Платоныч всегда представлял его себе маленьким, визгливым, с карикатурным носом, похожим на микрофон, и – обязательно в плаще. Точнее, в жалком плащичке с многолетними крошками в карманах, из хлеба и табака) сочинял вводку (лид, как теперь говорят) к статье. «Остров Эллис не имеет даже приблизительного отношения к девочке Алисе, зато самое прямое – к Стране чудес. Здесь начиналась Америка для тысяч эмигрантов, прибывавших в Нью-Йорк в поисках лучшей доли. Первое, что они видели на своем пути, – величественное здание, похожее на вокзал в крупном европейском городе».

Руфь внутри него (а Платоныч, как любой муж – необязательно любящий, всегда носил внутри себя уменьшенную копию жены; с внутренним журналистом они периодически собачились) здесь поморщилась бы и выхватила отточенный до состояния иглы карандаш – как месячный ножик из кармана. И вычеркнула бы «величественное», и начала бы вздыхать над «поисками лучшей доли».

Жена долго искала, куда приткнуться в мире, ставшем вдруг таким скучным. Пыталась работать то с детишками в школе, то в библиотеке. То вдруг влюбилась без памяти в соседскую собаку, боксера Луизу. Носила Луизе подарки из мясного магазина, гладила страшную курносую мордочку, умилая ее вполне вменяемую хозяйку. Подарки Луиза принимала, но любить в ответ не спешила и однажды облаяла Руфь, защищая рубежи родной квартиры, куда влюбленная неосторожно ступила с окровавленным пакетом в руках.

– Так вы заведите себе собачку, – посоветовала ей однажды Луизина хозяйка. – Она всегда любить вас будет, хоть пинай ее!

Решили взять кота.

Платоныч громко хлопнул дверью в музей. Лучше бы не вспоминать сегодня о Сёме. Несправедливо, что он прожил так мало. И умирал так тяжело.

Зажмурился, словно при виде грустных картин из жизни эмигрантов, которая подробно освещалась в музее. Служительница, дебилая негритянская женщина, сочувственно сдвинула его плечо. Но гость был далек от эмигрантов, честное слово, он шел по залам, от экспоната к экспонату, вспоминая серого кота, умного, как из сказки.

Они несколько лет общались друг с другом с помощью Сёмы – кот любил обоих и не давал им ссориться, разбегаться по углам квартиры. Мурлыкал так старательно, словно за это давали премию. Ложился на плечо Платонычу, то самое, которое стиснула черная служительница, и включал внутренний моторчик.

– Хыр-тыр, – ласково говорила Руфь. – Кто здесь мой любимый мальчик?

Сёма вздыхал от счастья и мурлыкал еще громче.

Когда он умер, был декабрь. Руфь хотела похоронить Сёму на даче у родителей. До весны мертвое тельце лежало в морозильнике, завернутое в полотенце и полиэтилен.

Платоныч встал у витрины с бумагами – старинными документами нынешних американцев. Эта нация тоже складывалась будто пазл или аппликация. По листочку, по волоску, по ниточке.

С каждым годом Руфь находила всё новые объяснения тому, что Платонычу не пишется.

– Я заметила, – делилась она совсем уж несусветными открытиями, – что сейчас в моде такие слова, как «волглый» и еще «по-над». Если ты пишешь «по-над», тебя совершенно точно напечатают!

Платоныч к тому времени уже не воспринимал всерьез весь этот бред. Он заматерел на работе, частично облысел и научился радоваться «весне света». С Ириной у них всё было серьезно, но однажды она расплакалась и сказала, что жену он никогда не бросит, так как она «болящая». И что в этих отношениях всё слишком *вагма́н*. Платоныч залез в словарь музыкальных терминов, прочел про вагма́н, но Ирина больше не звонила. Ее книжка для детей вышла несколько лет назад, лежала в библиотеках на полке с надписью «Искусство». Платоныч, выступая перед пятью своими преданными читателями, всегда косил глазом на желтую обложку с черными нотками. Прочсть ее он так и не решился.

Он тогда делал очередное интервью с известным музыкантом К., даже не удержался – сфотографировался с ним в полуобнимку. Так близко стояли, что долетал даже запах изо рта. Известные тоже пахнут. На снимке у Платоныча жутко самодовольный вид. Будто бы он сам родил этого музыканта или привел его к успеху. Вообще, отчасти так и было. Когда К. только начинал выступать с группой, Платоныч написал про него огромную статью, где цитировал Борхеса и предсказывал К. большую земную славу. Предсказанное сбылось даже быстрее, чем предполагал Платоныч. Он потом долго привыкал к тому, как становится легендой человек, которого ты знал живым, жующим, пахнущим. И вот он уже там, по ту сторону успеха, – и смотрит на тебя с фотографии в журнале. А тебе остается вспоминать о знакомстве и смириться с тем, что сам по себе ты никому не интересен. Еще, впрочем, можно рассказывать в компании о том, что «Костян вчера звонил», и поставить на стол совместное фото в рамке. А там недалеко уже и до пасьянса из визитных карточек.

Блондинка с отцом вышли из музея одновременно с Платонычем. Старикан цепко висел на загорелом локте.

– Теперь, Игоречек, поедem до нашей статуи, – сказала блондинка.

Русский язык со вкусом суржика. Платоныч вздрогнул, дважды обманутый. Не американка. И не дочка. Жена? Подруга? Сестра?

– Мужчина, а вы ведь русский, – блондинка погрозила ему пальцем, острым и раскрашенным хной. Не палец, боевое копьe африканского воина.

– Извините, – пожал плечами Платоныч, и старик Игоречек захохотал так громко, словно услышал невесту какой смешной анекдот.

Знакомиться не хотелось, поэтому Платоныч вежливо приотстал от дивной пары, наблюдая, как они взбираются на палубу. Блондинка надела темные очки – позднее именно в них Платоныч впервые и увидел зеленую, денежного цвета, статую с высоко поднятым факелом. Маленькая, четко отраженная фигурка. И разноцветная толпа у постамента.

В начале нового века мир вокруг резко стал цветным и глянцевым, таким, что глазам больно. Платоныч неожиданно получил предложение возглавить новую газету – такая ни за что не перепачкает рук, а будет лнуть к ним, как чистенькая, опрятная, но при этом бесконечно голодная кошка. Руфь сказала, пусть будет газета, ей всё равно. Она с каждым годом всё дальше уходила от него и от себя, той девочки с сережками. И он тоже, конечно, менялся. Молодой Платоныч не ожидал от Платоныча зрелого, что тот станет банальным скрягой. Да-да, все эти монетки для музыкантов ничего не значили – под ними, легкомысленно звенящими, раскрывалась адская пропасть скупердйства. Платоныч жалел каждую потраченную копейку, радовался, как дитя, когда удавалось сэкономить рублик. И, далее по списку, – доедал просрочен-

ные продукты, забирал из самолетов пакетики с солью и сахаром, таскал одну и ту же обувь по десять лет. Обувь теперь не снашивалась, ведь Платоныч стал кабинетным жителем, да и ботинки у него были вечные, английские. Правда, из моды вышли, но ничего: еще пара лет – и войдут обратно как милые.

Руфь деградировала иначе. В один день, после той истории с полипами, стала болезненно брезглива. Принюхивалась ко всему вокруг, с утра пораньше начинала жаловаться, что в ванной невозможно пахнет гнильем и что Платоныч, интеллигент паршивый, мог бы хоть что-нибудь с этим сделать. Платоныч честно плелся в ванную, шумно нюхал воздух, но ничего не мог уловить, ничего. Звали слесаря, он тоже нюхал, замерял, ползал. Менял унитаз и трубы, но Руфь, вздрагивая от слова «трубы», всё так же страдала от запахов, а потом вычитала где-то, что это симптом рака мозга. И тогда началась эпопея с врачами – похожая на компьютерную игру, где каждый новый виток сюжета означал новые испытания. Рак не нашли, «мозг – тоже», злобно добавлял про себя Платоныч, он уже злился тогда на жену всерьез, а она, бедная, некрасивая, толстая, всё продолжала жаловаться и в конце концов патетически сказала однажды:

– Я поняла, Алексей, чем пахнет в ванной. Это гниет наш брак.

Руфь категорически отказывалась принимать пищу вне дома – даже в гостях у родственников. Неизвестно, кто облизывал эту ложку. Я уверена, что у Анжеликиной дочки лямблиоз. Она слишком много ест; если ей менять еду – она будет есть с утра до вечера. И она часто пьет, эта Анечка, возможно, у нее диабет.

Анечку Руфь возненавидела с первой же минуты. Мощное чувство – Микеланджело в ненависти, Руфь отсекала от себя все прочие эмоции, пока не осталась одна только ненависть. Чистейшая, со слезой. Слеза была Анечкина – той хотелось нравиться всем, она искренне не понимала, за что ее так не любит странная тетя с дрожащими пальцами.

– Анжелике нельзя было рожать, – бухтела Руфь, когда они еще ходили в гости к сестре, когда Руфь еще брезгливо пробовала тамошние салаты и тортики. – Девочка еще даст ей жару, вот увидишь! Себялюбка, дурно воспитанная, с признаками вырождения, и ты заметил, что она косолапит?

Пока что страшные прогнозы не сбывались, Анечка училась в четвертом классе, играла на скрипке (где ты, Ася, где твоя грудь?). Руфь не любила, когда девочка приходила к ним в гости, но зачем-то устала ее фотографиями всю полку с набоковскими книгами. «Смотри на арлекинов!» – восклицал один корешок, потом были фото Анечки на горшке, в ванночке и в чтении стихотворения с открытым ртом. А дальше стояла «Лолита» как памятник мечтам несчастной Руфи.

Здесь могла бы быть аппликация – костер из крохотных ярких книжек, фигура женщины, сложенная из обгоревших спичек.

Простосердечная Анжелика советовала вывезти жену куда-нибудь на курорт, советовала Турцию или хотя бы горячие источники в Тюмени. Руфь даже слышать не хотела о том, чтобы спать не дома, – неизвестно, кто ночует на гостиничных простынях, а покрывала они вообще не стирают. И как она будет принимать ванну, если там до нее лежал непонятно кто? А в ресторанах едят только безумцы, которые не боятся ротавируса и яйцеглиста. Всем известно, что официантки плюют в суп клиентам, которые им не нравятся, так с чего им должна понравиться Руфь?

Платоныч не спорил с женой – не хочет выходить из дому, и не надо. Время от времени она бралась за какие-то таинственные заказы, стучала по клавиатуре, намекала на фриланс, но ни денег, ни других результатов этого фриланса Платоныч не видел. Зато альбомов – пыльных, толстых, разбухших от аппликаций – становилось всё больше и больше. Руфь резала журналы, подбирала на балконе голубиные перья, в такие минуты она забывала о брезгливости, несла добычу к столу и клеила, клеила, клеила свои жуткие картины.

Однажды она развернула очередной журнал и ахнула. Так громко, что ее услышал Платоныч – он в кухне жарил варенные пельмени. Трапеза холостяка.

– Смотри, это же Орел! – Руфь целила в портрет ножницами, на носу бутылочки с клеем повисла мутная капелька – как у простуженного ребенка. Лысый мужчина с широкой улыбкой, похожей на трещину, смотрел на них весело и ехидно.

«Иван Орлов, – сообщалось в журнале, – замечательный детский доктор, обожаемый малышами и их родителями, выступил с неожиданным признанием. Оказывается, этот тюменский Айболит вот уже пять лет подряд является автором популярнейших романов о судмедэксперте Иванове. Тайна псевдонима раскрыта!»

Платоныч давно упустил из виду Орла. Сейчас он смутно вспомнил, да, кто-то рассказывал ему, что педиатр переехал в Тюмень, там жили родители его жены. Но чтобы автор? Популярнейших романов?

– Является! – фыркала Руфь. – Выступил с признанием! Сам, поди, навалаял эту заметку.

От негодования она порозовела, ожила. Даже глаза заблестели – Платоныч давно ее такой не видел.

– О чём он мог написать, объясни мне! Что так всех покорило? Эти его идиотские истории, про вдову, которая набивала в презерватив манную кашу? Как он лопнул внутри нее и эту тетку привезли в ожоговый центр? Или про бомжа, который требовал его лечить, потому что врачи давали «клятву Пифагора»? Да что вообще Орел понимает в литературе?

– Это не литература, – попытался утешить жену Платоныч. – Это популярнейшие романы о судмедэксперте.

– И всё равно, – не поддавалась Руфь, – успех, слава! Признание! Фотография в журнале!

Она еще долго ворчала, роняя свои бутылочки с клеем и шелестя журнальными страницами. Утром, собираясь в редакцию, Платоныч заглянул в последний из ее альбомов – портрет Орла ровно посередине листа, вокруг приклеено множество еловых веточек, тщательно нарисованных зелеными чернилами и вырезанных по контуру. На веточках крепились тряпичные цветочки и буквы «Вечная Память».

Как Орел не умер после этого русского вуду, одному богу известно. Платоныч позднее читал разные интервью с доктором в федеральных и местных газетах, ему приятно было видеть лицо старого приятеля. И слова его были узнаваемы в этих интервью, хотя профессионалов среди журналистов всё меньше. Умирает ремесло.

Ступая на остров Свободы, Платоныч не думал о том, кого он увидит под факелом через пятнадцать минут. Придет ли кто-нибудь на эту встречу, или же о ней все забыли. Люди, которые фотографировались и выпивали в мае 1991 года, давно перестали быть важными друг другу. Да были ли они важными? Даже когда он прочел в сетевом дневнике скрипачки Аси грустнейшую историю о похоронах ее мамы... Даже тогда он пожалел какую-то абстрактную Асю с аватарки: мелкой фотографии, запечатлевшей красиво стриженную блондинку. А вовсе не ту, настоящую, живую девушку из прошлого – в клетчатой юбке, с вытертым скрипичным футляром.

История же и вправду была грустная – у ангелов всё никак не доходили крылья, чтобы разобраться с Асей, но, когда подвернулся случай, свели счеты, не мелочась. Мама умерла дома, легко, как всегда мечтала. Единственное, что она не успела сделать, – это посетить лечащего врача и сообщить, что она собирается умереть с пятницы на субботу в десять часов вечера. «Да-да, – писала Ася, размазывая слезы по клавиатуре, и Платоныч сжимался от жалости. Гладил курсором аватарку. – Об этом следует предупреждать. В противном случае по закону вам непременно сделают вскрытие с распилом черепной коробки. Чтобы установить причину смерти».

– Хотя бы голову мамину можно не трогать? – плакала Ася, как маленькая девочка, хватала за руку пухлую врачиху. Врачиха вырывала руку – холодную, как у трупа.

– Ничем не могу помочь, закон есть закон.

– Но ведь у нее сердце было больное. Почему вы не можете написать справку?

– Потому что ваша... ммм... гражданочка не была на приеме больше двух месяцев. Всего вам самого доброго!

Белая дверь хлопнула, белая врачиха пила с белой медсестрой зеленый чай, белый ангел сидел на шкафу в синих бахилах и грустно смотрел на черную от горя Асю.

«Но я не сдалась, – писала дальше Ася. – Я пошла к патологоанатому, в морг, где лежала мамочка. И упала ему в ноги».

Патанатом только что пообедал – вышел из машины, задумчиво выковыривая мизинцем капустку из зубов. Хороший специалист и славный человек, который искренне растерялся, увидев у своих ног маленькую зареванную женщину. Капустка плотно засела в зубах, патанатом встряхнул Асю за плечи.

– Я очень хочу вам помочь, но не могу.

– Но я же вам заплачу, – пискнула Ася. – Сколько скажете.

Патанатом покачал головой.

– Есть закон, понимаете? Единственное, что я могу вам пообещать, – мы всё сделаем очень аккуратно.

– Но хотя бы голову мамину можете не трогать?..

На похоронах, когда вокруг гроба ходили грустным гуськом мамыны подружки, Ася старалась не смотреть на подушечку в кровавых пятнах. И всё равно смотрела и шептала одно и то же, про себя и вслух: «Прости меня, мамочка, прости меня».

«И всё же, – это были слова из финала ее рассказа, непонятно с какого лядя выложенного на всеобщее обозрение, – патологоанатом был единственным во всей этой истории, кто отнесся ко мне по-человечески».

Статуя была теперь совсем близко.

– Симпатичная женщина, – одобрительно сказал кто-то вполголоса рядом с Платонычем. Русский, незнакомый, молодой. Похож на молодого Сережу Тромба.

Платоныч прислушался к себе и понял – он не хочет, чтобы рядом был Сережа. Не хочет видеть никого из прошлого, никого из настоящего. А будущего вообще нет, это все знают. Особенно американцы, нация детей, повзрослевших в один день.

Ему было хорошо на маленьком острове, рядом с зеленой женщиной в колючей короне. Статуя крепко держала и факел, и скрижаль – не вырвет ни один мошенник.

Парочка из музея поравнялась с Платонычем.

– Скажите, а на факел можно подняться? – спросил он у женщины, и та захихикала. Старикан тоже улыбнулся.

– «Факел» у них неприлично звучит, – объяснила она. – Мы в девяностых поднимались с Игоречком на корону. Помнишь, Игоречек, как здесь было здорово, пока эти суки не снесли Торговый центр?

«Снесли» прозвучало у нее так буднично, словно это был плановый снос.

Игоречек кивал, закинув голову и восторженно любуясь статуей. Часы на бледном стариковском запястье показывали ровно два.

Платоныч вытянул шею, но перед ним под факелом толпилось слишком много народу.

Он отвернулся, будто бы разглядывая мост с гигантскими опорами, похожий на провисшую волейбольную сетку. А потом пошел к пристани, откуда через двадцать минут отплывет рейсовый катер.

Мужик с удавом и мужик с саксофоном встретят его на берегу.

Обстоятельство времени

Когда Е.С. поворачивалась спиной к классу, лицом к доске (к царевичу – передом, к лесу – задом), сразу становилось понятно, есть ли сегодня на уроке Ваня Баянов. Пока учительница писала тему размашистыми меловыми буквами на зеленой доске, класс бесновался (если был Ваня) или же сидел тихо и преданно буравил спину Е.С. взглядами (если Вани не было). Даже страшно становилось учительнице в такие дни – казалось, что сзади никого, что лес, царевны и царевичи исчезли. И что пишет она тему в пустом классе, непонятно с какой целью выводит меловые буквы – каждая размером с ее собственную ладонь.

– Всеволод Гаршин. *“Attalea Princeps”*.

Е.С. – многообещающие инициалы.

Для учительницы самый лучший вариант, конечно, Елена Сергеевна. Настольная книга драматурга и педагога, недорогая к тому же. Светло-синий чулок. Принципиально-жалостливая, любит поговорить о том, что у богатых женщин пустые глаза. И еще любит графику, особенно меццо-тинто. Ах, меццо-тинто! Черная манера – личная замена мужчинам, ребенку и, бог с ней, даже религии.

Екатерина Семеновна – тоже симпатично. Представляется такой приятный белокурый образ: пухленькие щечки, чулки не синие, а с кружавчиками, видными в разрезе юбки. Цок-цок, доброе утро, мальчики! Десятиклассники в глубоком поллюционном обмороке. Начнем урок!

Евгения Самуиловна – ну, это уже классика соцреализма. Или, если хотите, легенда отечественной педагогики. Пожилая интеллигентная женщина с юмором, чуточку трясущимся подбородком и терпением такой выдержки, что даже арманьяку не снилась. Черное платье с кружевным, но не чулком, а воротником, яшмовая брошь и мягкие морщинистые ладошки. Детей всех зовет на «вы», даже если у «вас» сопливый нос и всего семь лет жизни за плечами. Младшеклассники лезут обниматься, чувствуют, зверята, это один из последних экземпляров. Почти ушедшая натура.

Еще можно представить себе, например, Евдокию Степановну. Загорелую, в морщинках, с крепкими крестьянскими ногами. Знает наизусть всего Маяковского, а любит Есенина и держит дома кошек, хотя хотела бы собаку. Детей всех зовет на «ты», и взрослых тоже. Украшает кабинеты к празднику, даже когда ее об этом не просят, и выращивает цветы на подоконниках – даже те, которые в неволе не растут.

Еще могла бы возникнуть... Евангелина Сидоровна, странное создание, которое само себя боится, или вообще какая-нибудь Ева Саваофовна, но все они – не те. Наша Е.С. – из другой колоды, вообще ничего общего, кроме инициалов. И она эти инициалы любит больше полного имени, потому что полное имя учительницы – Елизавета Святославовна. Родители не удосужились взвесить его на весах живой речи, ни разу не произнесли вслух, просто маме очень уж хотелось девочку Лизаньку, а папа так желал угодить маме, что и не подумал с нею спорить. Еще когда выдавали свидетельство о рождении, в окошечке ЗАГСа вздохнули, что писать долго и сложно, но гражданам разве втолкуешь? Перед Лизанькой, к примеру, зарегистрировали и вовсе Джессику Курочкину.

В школе Елизавета Святославовна в полном объеме имени не прижилась бы – таким учительницам или приклеивают удобные клички-этикетки, или сокращают до какой-нибудь Лисс-Святтны. Е.С. заранее подготовилась к любым вариантам и сама сократила себя до первых букв. Сынициировала, таким образом, свое прозвище и спокойно на него отзывалась.

А мама, да, по-прежнему звала ее Лизанькой. Е.С. худенькая, невысокая, длинные волосы в хвост и выглядит как девочка, которая немного устала. Морщинки, легкие тени под глазами, виноватая улыбка. Какого цвета у нее глаза, помнил только муж, и то в юности.

– “*Attalea Princeps*” – сказка, которую вы должны были прочитать дома.

Ваня Баянов сегодня был в классе и занимался как раз тем, что Е.С. про себя называла «рвать баян». Таких, как Ваня, в прежние времена считали хулиганами, а теперь со скорбным лицом говорят: «гиперактивный ребенок с дефицитом внимания». И прописывают таблетки для усидчивости и мозговой деятельности. Ваня по кличке Баян – хорошенький пятиклассник с лицом правого ангела «Сикстинской Мадонны». Херувим-поганец. У Вани жуткий нервный почерк, как у смертельно уставшего от писанины доктора, дежурящего третью неделю подряд. У Вани белокурая мама, которая ездит в громадной машине, носит высокие сапоги и с такой тоскливой страстью смотрит на мальчиков из одиннадцатого класса, что Е.С. всякий раз хочется закрыть ей чем-нибудь лицо, чтобы никто больше этот взгляд не увидел. Наконец, у Вани есть мечта – довести каждую училку до белого каления, то есть, скорее всего, Баян не думает именно такими словами: «до белого каления», это Е.С. улучшает и редактирует Ванины душевные позывы.

В свободное от школы время, то есть ночами и в воскресенье, Е.С. редактирует статьи для глянцевого журнала, поэтому у нее сформировалась привычка редактировать речь, а порой и мысли окружающих – она часто подсказывает нужные слова даже тем, кому это совсем не требуется.

Баян, как балерина, кружится по классу, ставит подзатыльники отличникам и показывает язык в окно. Е.С., по замыслу Вани, должна возмутиться, выгнать поганца из класса, но у нее другая тактика – игнор. Нет Вани Баянова в ее жизни, и мальчишку это страшно задевает. Когда он совсем уже переходит границы, Е.С. взрывается короткой вспышкой – как самодельная бомбочка – и говорит два слова:

– Пошел вон.

– Это недопустимо! – возмущается в учительской Елена Сергеевна, с которой полностью солидарны Евгения Самуиловна, Екатерина Семеновна, Евдокия Степановна и даже странная Евангелина Сидоровна. Евы Саваофовны сегодня нет – отпросилась в сад.

– Баянов, конечно, не сахар, но у меня вот, например, сидит и работает, – Евдокия Степановна гордится собой и смотрит на Е.С., готовая поделиться наработками и открытиями. Евдокия Степановна ведет у пятого класса информатику, в которой Е.С. не понимает ни бельмеса, а Степановна, та съела собаку-аррбуу еще в те времена, когда компьютеры были размером с шифоньер.

Е.С. молчит, а директор школы и единственный в ней педагог-мужчина Егор Соломонович примирительно говорит:

– Я бы рад его выгнать, голубчик вы мой, Елизавета Святославовна (запыхался, бедняга, к концу имени), но вы же знаете, его папа купил нам в школу новые компьютеры. А мама всегда помогает с призами для конкурсов.

Сегодня Баян в ударе. Удары он наносит по стенке ногами в мокасинах фирмы *Gucci* и сопровождает боевитыми выкриками. Портрет Ломоносова, висящий на той же стене, мелко трясется и смотрит на учительницу с укоризной. Всё громче и громче произносит Е.С. слова о роли Гаршина в русской литературе, всё методичнее и яростнее стучит Ваня о стенку. И вдруг замолкает, и в класс нежным облаком спускается благословенная тишина. Так бывает после целого дня ремонта у соседей – когда после сверления мозгов, ударов по затылку и скрипа костей внезапно наступает восхитительная пауза, и для счастья уже не надо больше ничего – даже любви и денег.

Ваня чудом услышал вопрос о том, кто из героев сказки понравился ему больше других, на кого ему хочется быть похожим, и так резко вскинул руку вверх, что Е.С. непроизвольно пригнулась.

Дети между тем уже высказались – они все сочувствуют гордой пальме и маленькой травке, желающим сбежать из тесной оранжереи. Все, как один, маленькие занудные подхалимы.

– Баянов! – говорит Е.С., и Ваня непривычно тихим голосом признается: ему нравится толстенький кактус, не помышлявший о побеге.

– Я, – объясняет Ваня, – я бы хотел быть таким, как этот кактус. Мне бы нравилось в оранжерее. Я люблю покой. И уют.

Одноклассники осуждающе шумят, девочки смеются, Ваня краснеет и скидывает со стола учебник соседки по парте Рыбиной Риты. Звенит звонок, все несутся в столовую – святой час! Е.С. успевает поймать на ходу Баянова и попросить у него дневник. Там, среди красных строчек замечаний и фигурно вырисованных двоек, появляется первая в жизни пятерка по литературе. Или по «лит-ре», как записано у Вани.

– Это мне? – не верит глазам мальчишка. – Спасибо!

Е.С. кивает, и Баян уносится прочь с дневником, поднятым над головой, как знамя революции. В юности Е.С. тоже хотела стать «пальмой», сломавшей крышу ненавистной оранжереи и принявшей смерть взамен тюрьмы. Сейчас, когда ей тридцать девять – а это последний вагон, – она поняла, что ей тоже нравится толстенький кактус. А также покой. И уют.

Покой, впрочем, только снится – на второй урок приходит восьмой «б», писать контрольную по обстоятельствам. Обстоятельство времени. Обстоятельство места. Обстоятельство меры, причины, условия, образа действия.

Восьмой класс – почти взрослые люди. Ключевое слово здесь «почти».

Пока ученики корпят над работами (Оля Макарова бессмысленно и беспощадно списывает у Кости Логвянко), Е.С. отвлекается от урока, думает про свои личные обстоятельства. Особенно ее занимает обстоятельство времени.

Время жизни Е.С. несется очень быстро. Как бешеный конь во сне жокея-чемпиона. Как ночь с любимым. Как любой урок – хоть русский, хоть литература! – в одиннадцатом «а», где учится Севастьян Аренгольд.

Вот тоже имечко, да? На самом деле мальчика – того же самого – могли звать Всеволодом Ёлкиным, вот и представьте себе, какие возможности открываются перед одним и тем же человеком. Ёлкиным был рожден отец Севастьяна, мечтавший, что будет у него сын Сева еще в рядах Советской Армии. Мама Севастьяна против мечты не возражала, но внесла в нее кое-какие коррективы – полное имя будет «Севастьян», и фамилию возьмем материнскую. Как любят некоторые вмешиваться в наши грезы!

Самым красивым в Севастьяне Аренгольде было его имя, хотя Е.С. искренне считала его разносторонне прекрасным юношей. В нем не было ничего приторно-молодого: телячьих глаз, пухлых губ, неуклюжей робости. Высокий, резкий, с довольно крупным, на вырост, носом, уверенно вырезанным подбородком и совсем неожиданными в таком комплекте кудрявыми волосами, которые доставляли ему много слез в детстве. Сдержанный, холодноватый, словесно одаренный Аренгольд всегда был преданным рыцарем Е.С., и мысль о том, что всего через несколько месяцев этот удивительный мальчик исчезнет из ее жизни, мучила учительницу всё чаще. В последнее время, откровенно говоря, она не давала ей спать по ночам – Е.С. просыпалась и шла проверять тетради. Или редактировать тексты при луне.

Аренгольд, разумеется, был влюблен в Е.С., но она – бедная, бедная Лиза! – никогда не позволила бы этому искушению состояться. Хотя и надевала самые свои любимые платья в те дни, когда у одиннадцатого класса была литература.

Вот такое было у Е.С. обстоятельство времени – непреодолимая разница в возрасте между ней и Аренгольдом. Более того, никто и не пытался ее преодолевать – каждый, со своей стороны, делал вид, что ничего такого не происходит. Хотя Е.С. сбивалась и краснела, когда Севастьян проходил мимо. Или отвечал на ее вопросы. Или отстаивал вместе с ней – против

всех! – несчастную букву Ё, за которую Е.С. давно уже собирала крестовый поход. Возможно, Севастьян боролся не столько за букву, сколько за родительскую фамилию Ёлкин, которая утратила бы вместе с точками над верхней перекладиной всё свое брутальное звучание. Возможно, хотя Е.С. считала иначе. Самое большее, что она себе позволяла, – это помечтать о том, как они однажды встретятся, лет через пять, когда он уже будет взрослым мужчиной, а она – всё еще привлекательной женщиной.

– Милая, – окликнули бы Е.С. ровесницы из последнего вагона, – через пять лет он и смотреть на тебя не захочет!

Тут еще на третьем уроке – русского языка в пятом классе – Баян, воодушевленный пятеркой, активно участвовал в образовании однокоренных слов и написал на доске нервными буквами: «Искушение».

– Это от слова «искать», – пояснил Ваня. И улыбнулся прелестной улыбкой херувима.

Искушение, как не оно! На одной лестничной площадке с семьей Е.С. жил молоденький поп с еще более молоденькой попадшей. Оба были очень серьезные и поэтому смешные, но Е.С. не стала искать никого другого и вечером позвонила в соседскую клеенчатую дверь.

Дома поп ходил в трениках и черной футболке. Кстати, в слове «поп» нет ничего обидного.

Он так обрадовался Е.С., как будто она принесла ему благую весть.

– Проходите! Проходите! – приглашала ее девочка-попадья. Е.С. неловко села на табуретку.

– Вы хотели поговорить, – догадался хозяин, и Е.С. вдруг увидела, что он тоже – мальчик, что он, наверное, даже не помнит, какие мультфильмы показывали в перестройку. Все вокруг Е.С. вдруг оказались моложе ее на непоправимое и непостижимое число лет, а она на глазах обростала годами, старела и выцветала вместе со своими любимыми платьями.

С чего она взяла, что ее любит Севастьян Аренгольд?

– Извините, – бормотала Е.С., прощаясь с хозяевами.

Девочка-попадья чуть не плакала от досады, так ей хотелось по-взрослому принять в гостях соседку. Священник – хотя и в слове «поп» нет ничего обидного – тихонько постучал согнутым пальцем по плечу Е.С.: как будто в калитку.

– Приходите в любое время.

И вот Е.С. сидит над тетрадками – почти все коллеги, кроме разве что Евдокии Степановны с ее информатикой и Евы Саваофовны, пристально разглядывающей в коллективном саду стволы молоденьких яблонек, делают то же самое. Обычно Е.С. проверяла тетради лихо, легко, только успевала перекладывать из одной стопки в другую – ее ждала еще и редакция, намного более тяжкий труд. Журналисты теперь совсем разучились писать, но остались при этом такими же ранимыми, как прежде.

– Она у нас вырезает всё самое лучшее! – возмущались «пикульки трехкопеечные», как любовно называла журналистскую братию мама Е.С., некогда старший редактор областного радио и заслуженный деятель культуры.

Е.С. и правда резала лишнее – «это», «является» (являются, объясняла она тем, кто ее слушал, только привидения. И то не всем!), обрубала хвосты деепричастий и выпалывала любимые слова гламуристики: «изысканный, завораживающий, поражающий, изумительный, роскошный, неповторимый, уникальный». Глаголы, ну почему все нынче так не любят глаголы? Глагол может спасти даже самое неуместное и нескромное предложение.

Слава богу, в журнале признавали букву Ё, хотя бы в этом смысле Е.С. повезло.

Но до редакции сегодня было еще как до луны. Весна, за окном светло, стволы деревьев в саду видны как днем.

Е.С. сидит над тетрадками и пытается разобрать почерк Вани Баянова. Это даже не почерк – Баян ленится делать домашнюю работу и, как дошкольник, выводит в тетради кара-

кули, изображающие буквы. Похоже на схематический рисунок травы или горных пиков. К запятым и другим знакам препинания Ваня относится точно так же, как писательница Гертруда Стайн, – делает вид, что их нет и никогда не было.

Е.С. ставит двойку и пишет: «Ваня, мне нужен перевод».

Это Ване нужен перевод в другую школу. Но тогда придется отдавать в другую школу и компьютеры из класса Евдокии Степановны. Как ни странно, Ванина тетрадь с каракулями отвлекает Е.С. от печальных мыслей, хотя в голове всё так же крепко сидит и царапается буквами длинное слово «искушение».

Е.С. не одинока, у нее есть муж, дочь и даже кошка, но все они – и сама хозяйка – живут в этом доме своей, отдельной жизнью. Хорошо, что у них целых три комнаты! Есть куда распылиться. Кошка иногда, впрочем, жалуется на такую судьбу, ходит из комнаты в комнату, муравкая и пытаясь собрать непутевую семью вместе. Не за одним столом, так хотя бы в одной комнате! Но нет. Муж Е.С. Виталий ведет нескончаемую беседу с телевизором, один-одинешенек сражается с целой гвардией улыбающихся голов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.